



Федор
Метлицкий

Родом из
шестидесятых

Роман

16+

Федор Метлицкий
Родом из шестидесятых

«Автор»

2020

Метлицкий Ф. Ф.

Родом из шестидесятых / Ф. Ф. Метлицкий — «Автор», 2020

Время шестидесятых годов прошлого века в восприятии современников, с их надеждами, тяготами и несчастьями. Выпускник университета, работающий в министерстве, мучительно переживает неразделенную любовь к жене, жалеет сослуживцев, прозябающих в запертом пространстве Системы. Спасается в кругу литературных приятелей-"шестидесятников", живущих новыми тенденциями в искусстве. И только с маленькой дочкой может дышать свободно. Но вскоре приходит настоящая трагедия.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1 | 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 13 |
| 4 | 19 |
| 5 | 26 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 30 |

*Мне кажется, нам не уйти далеко.
Похоже, что мы взаперти.
У каждого есть свой город и дом,
И мы пойманы в этой сети. Б. Г.*

Время шестидесятых годов прошлого века в восприятии современников, с их надеждами, тяготами и несчастьями.

Выпускник университета, работающий в министерстве, мучительно переживает неразделенную любовь к своей жене. Не переносит запертое пространство Системы, жалеет сослуживцев, которые прозябают в ней. Спасается в кругу литературных приятелей- "шестидесятников", живущих новыми тенденциями в искусстве. И только с маленькой дочкой может дышать свободно.

Но вскоре приходит настоящая трагедия.

Вступление

Что это было за «серое» послесталинское время в Империи до обрушения тоталитарной системы? Его обычно видят лагерь с фальшивым высотным зданием, подражающим античности, как и помпезной архитектуре при фашизме. Время, говорящее о незыблемости Системы, ритуально устремленной в абстрактное будущее.

Это было время радикальных открытий и трендов. В нем видят начало эры пилотируемой космонавтики, Гагарина, впервые заброшенного в космос, жуткой здоровой зависти к американцам, ответно облетевшим вокруг Луны, а потом ступившим на ее почву, первого страха ядерной войны в разгар холодной войны и Карибского кризиса.

Время сексуальной революции, феминизма, мини-юбок, туфель на платформе, «битлов» и «хиппи», рок-н-ролла, «самиздата».

Время перехода на 5-дневную рабочую неделю, перехода магазинов на самообслуживание, великого спроса на импортные товары, очередей в ГУМе за кофточками, из всех провинций.

А также время разных слухов о тогдашних вождях в «пирожках» и шляпах. Хрущев, освободивший миллионы невинно осужденных и переселивший массу рабочих в отдельные квартиры, и в то же время волонтерист. Безответственный престарелый Брежнев, хорошо живший и дававший жить другим (конечно, не всему населению). Борец с коррупцией и прогулами председатель КГБ Андропов.

Вместе с тем жизнь стала чинной, люди ушли в раковины квартир, и выплескивали в ритуале площадных зрелищ свою застоявшуюся энергию.

Об этом времени знают лишь по перипетиям вокруг этих людей и событий. Но кто жил тогда в этом высотном дворце и за его пределами? Послушная и агрессивная масса, или люди со своими тяготами и переживаниями, знающими, что из этого крепкого дома, кирпичик к кирпичику, не выйти никогда? Или расправляющая смятые крылья под влиянием ослепительно свободных поэтов и писателей "шестидесятников", разбудивших спящую страну?

Обыватели говорил космолог С. Хокинг.

Что который довели до кризисной точки взрыва? Кто обрушил это вечное здание Империи?

И откуда накопилось пренебрежение к «массе», что не оставляет нас и поныне

1

Читаю дневники тех лет, и возникает волнение. Хотя особых изменений по сравнению с сегодняшним днем не вижу, разве что мы были молодыми. Если бы круто изменить жизнь, отвалить, например, за границу, то можно ощутить разницу. А так, сидя сиднем в одной и той же социальной системе, словно и не рос. Оставляя далеко прошлое, не чувствуешь коренного изменения, словно внешнее не влечет за собой внутреннего изменения.

Поражаюсь тому, что у меня та же неудовлетворенность временем, неустойчивость существования, как и тогда, хотя стал не только взрослым, много грешившим, но даже уже безгрешным стариком.

Оправдались ли ожидания моих сослуживцев и друзей? Я и тогда знал, что ничего лучшего, чем есть, с ними не случится. И от этого мне еще жальче их безвыходности, хотя они обойдутся и без моей жалости.

Смотрю на себя тогдашнего, плывущего по течению, потому что оно было predetermined, – во мне был веселая энергия, как улюлюканье молодости в пустоте. Серое небо над сознанием было закрыто, опутано невидимыми внешними запретами, и моей провинциальной недоразвитостью. Воображение металось где-то, не выходя за пределы железного занавеса, закрывшего мировую культуру. Хотя в воздухе носилось что-то свежее, разбуженное мальчишеской смелостью поэтов-шестидесятников. Оттепель!

Мы с приятелями-однокурсниками, журналистами и начинающими литераторами, может быть, графоманами, о которых ниже, уже не считали эту тоскливую жизнь вечной, не могущей выйти из-под красных твердокаменных стен Системы.

Мы были слепыми, не могли выйти из застойного видения окружающего мира, и мучительно пытались открыть его смысл, войти в модную тогда «исповедальную литературу». И мучили своих жен, уделяя мало внимания семье. Короче, почему-то не могли вырваться на широкий простор истории, как это удавалось некоторым диссидентам. Чехов тоже не видел выхода, но в нем, как и в нас, была жалость к запертым в духоте людям.

Я плыл по течению, куда влекла меня пустота души. Вернее, был в постоянном поиске полноты. С книжкой торчал на кухне, и курил ночью, читал запоем чуть не до утра, зная, что буду страдать сонливостью днем и бессонницей ночью. И тогда не знал, что мое самопознание не закончится никогда, всегда будет преследовать эта страсть.

А как мы носились тогда – на дачу, выставки, в музеи, в командировки! Как, без денег, нищенствуя, объездили столько стран, – добывали ресурс, каким-то кривым путем проскальзывая в ресурс государства. Внешний мир для нас, молодых, был гораздо живее, чем сейчас с виртуальным интернетом. Сейчас вынуждены ограничиваться дачей. И какое-то прежнее молодое отчаяние отдается и сейчас, в конце жизни.

Молодость видится мне как солнечный зайчик, проникающий в полупрозрачную тину гибнущей эпохи. Хотя там было столько же горестей и страданий, как и сейчас.

Я прыгаю в ее счастливые и трагические дни, как из машины времени. Хотя есть философский парадокс – смогу ли вернуться назад, когда увижу живых, еще не умерших близких? Или буду уже не я? Или останусь тем же, как в философской книге о предопределении: виновен ли Эдип, убивший своего отца, будучи в предопределенном времени? Может быть, "глубинная" жизнь не меняется во временах?

Вижу, как сейчас, мрачное темно-серое «сталинское» здание министерства с колоннами, недалеко от Красной площади, куда после окончания университета меня "по благу" пристроила теща, бывшая там когда-то начальником отдела, суровая коммунистка с густыми черными бровями, плакавшая после смерти Сталина. Туда невозможно было пройти без пропуска со страшным крабом герба, и трудно даже через бюро пропусков.

Министерство было притягательно, потому что здесь была возможность выехать за границу, где можно быстро обогатиться тем, чего трудно «достать», – дубленку, джинсы, машину. Поэтому его наводнили по оставшимся связям изгнанные после чисток чекисты, работники тюрем и лагерей, всякого рода бывшие начальники расформированных министерств. Наверно, потому, что министр был из высокопоставленных чекистов.

Особенно много их было в нашем Управлении по контролю товаров, с филиалами по всей стране и за границей. Они работали экспертами в регионах, а также ездили за рубеж для проверок партий продаваемых нам товаров на месте.

Странно, что тогда существовала такая работа, ведь качество было понятием условным, политическим, и определялось сверху.

Я несколько лет ежедневно корпел над изданиями Управления – методиками проведения экспертиз импортных партий грузов, поступающих в разные места империи. Благодаря моему ловкому перу меня заметил сам министр и однажды взял меня в командировку. Вокруг нашего министра, переведенного сюда из таинственных верхов КГБ, был ореол священного ужаса. Но я так не воспринимал этого сурового дядьку с медальным профилем и стеклянными глазами, вел себя с ним как обычно со всеми начальниками, и даже позволял некую непринужденность.

Он был удивлен, прочитав составленный мной отчет о командировке, похожий на драматическое сочинение, но ему понравилось.

Может быть, я чем-то приглянулся ему. Понравилась бойкость моего пера, могущего мыслить нестандартно. И он брал меня с собой в командировки, после чего я писал ему отчеты, напоминающие художественную прозу, которую он читал с удивлением, но одобрял.

Эти поездки в восточные республики были настоящей номенклатурной нирваной. В республиканских столицах нашу делегацию с шефом встречали с цветами и оркестром, почти на руках выносили в длинный черный лимузин и везли на пиршество с восточными яствами в самое златное место где-то на берегу тихого озера среди гор. На каждом километре пути отдавали честь постовые, неизвестно сколько стоящие на изнурительной жаре. Наверно, это было время перед крупными делами о местной мафии, затеянным председателем КГБ Андроповым.

Пока мы возглашали тосты за великих вождей центра и этой республики, шеф уединялся с таинственными личностями для долгих секретных бесед. Наверно, руководил сетью агентов, спасающих рушащиеся устои системы. Как я узнал позже, он выполнял поручения председателя КГБ.

С тех пор я был под пеленой дружелюбия и всепрощения, и видел в сотрудниках милых и доброжелательных друзей. Ко мне относились странно, с каким-то подобострастием. Может быть, все решили, что я особа, приближенная к императору.

Я тогда был на редкость наивным и искренним, проявлял это в нелепой неискренней форме, панически боясь некоего разоблачения.

– Потому что всегда чувствую правду и фальшь, – отвечивал я искренне на удивление друзей. – И обижать правдой не хочу.

Мое нелепое поведение проявилось, когда перед праздником опекавший меня кадровик Злобин подозвал за свой стальной шкаф.

– Нужны дефицитные продукты? Вот тебе записка в валютный магазин. Бери, не стесняйся. Это волшебный ключик, который откроет тебе все двери. Купишь полный набор, да не за валюту – где она у нас? За рубли. Видишь, как я о тебе забочусь? Может, вспомнишь когда.

Чем-то я ему приглянулся. Не дай бог...

Пошел с заветной запиской в магазин за дефицитом. Шел и всю дорогу зубрил записку от некоего лица, который мог все. Подпись непонятна, не то Шуваев, не то Сулаев.

Ну, пошел с черного хода. В ворота въехала машина – чуть не прокатила меня по стенке. Выскочил из-под нее – там носят ящики с консервами.

– Мне...

И позабыл. Растерялся. Вытащил волшебную записку.

– Шуваева... Александра Ивановича.

– Туда.

Подошел к директору.

– Вы Сулаев? Вот...

Опять забыл, глянул в бумажку.

– Сейчас. Идемте, платите в кассу.

– Сюдой?

– Да как угодно проходите.

Вернулся, зажав в кулак чек и мигая директору. Тот, занятый, недоуменно глянул.

Я мешался под ногами рабочих.

– Проходите ко мне.

В его кабинете уставился в какой-то плакат с расчерченным на куски животным. Пришла тетка в халате, с пакетами.

– Авоська у вас есть? Авоська – есть?

Повернулась.

– У него авоська есть?

– Вы – мне? Вот, сумка.

Озираясь, покидал пакеты в сумку.

– Выйти можно сюда?

– Да в любую сторону!

Недоумевая, проводили глазами. Я фальшиво улыбался по дороге.

Сейчас прохожу мимо этого темного прямоугольного здания министерства, куда уже нельзя войти – отобрали пропуск, с чувством не проходящего унижения, и меня невольно отталкивает от него ощущение чего-то страшного...

Это место связано и с моей личной трагедией.

2

Первая любовь не забывается. Во мне до сих пор сохранилось ощущение благородства и правдивости высокой и тонкой девушки с бледной аристократической кожей лица, с длинными тонкими руками, которые она естественно элегантно заламывала в такт словам.

Казалось, я не был способен на любовь, которая потрясла бы все мое существо. Во мне стыла некая "замороженность" души, не знаю откуда. Как будто боялся открыться, так безопаснее. Видимо, не от жизни одиночки – я совсем не одинок. По-моему, во мне была некая крестьянская закрытость, от моих предков, крестьян-единоличников, которых разорили и загнали в колхозы или раскулачили и изгнали куда-то в Сибирь, и они привыкли быть суровыми к себе и другим, с жертвенностью на месте сердца. Могли так же сурово вкалывать и работягами, повинующимися понуканиям партии перевыполнять задания, и председателями колхозов, выбивающими трудодни, и вертухаями в лагерях.

Во мне явно были гены предков, которые меня направляли. Отец был счетоводом, мнившим себя интеллигентом, мать домохозяйкой, всю жизнь вкалывающей, чтобы прокормить семью. Хотя дети померли – от голода после войны, кроме меня и брата. Никаких препятствий, чтобы жить, я не видел. Не думал, что власть виновата в драме народа, и не было желания изменить мир, смотрел на все по-телячьи. Виновата человеческая природа, рок, то есть наша история, которая вся шла в войнах, небрежении к человеку. А нынешняя власть – лишь частица этого продолжающегося небрежения к человеку.

Отсюда желание заострить отношения – посмотреть, каков я, люди, на самом деле.

Я увидел ее на филфаке университета. И слегка обалдел – от ее гибкого тела, с голой полоской талии под заламывающейся кофточкой, исходило голубое сияние. Может быть, это сияла белая кофточка и голубая плиссированная юбка, не знаю. Она шла, с сумочкой через плечо, похожая на учительницу, в больших очках в тонкой оправе, которые ей очень шли. Я сразу узнал абстрактную грезу юности. Все мои наивные увлечения показались вторичными. Она затронула ту часть моей души, что, еще до "замороженных" генов предков, была чиста и невинна. Значит, в нас заложена природой такая дивная встреча? Как мог прожить без этого чуда раньше?

Она из семьи партийного деятеля, после университета стала работать редактором в рекламном издательстве. Она казалась такой женственно серьезной, независимой, что я бы поверил каждому ее слову.

Что могло ее привлечь во мне, иногороднем нищем студенте? Может быть, моя провинциальная невинность? Впрочем, тогда не было резкого деления на богатых и нищих. Мы стали встречаться с ней у ее подруг.

Она не хотела большой свадьбы. Я тоже не любил открываться большому числу людей в этом стыдном деле. Нищему студенту жениться, что подпоясаться.

Свадьбы не было, мы просто расписались в загсе. Начали жить в ее квартире (родители разменяли квартиру, оставив свою в честь ее поступления в университет), где я и стал «примаком».

В двухкомнатной квартире стоял старинный черный рояль, и была библиотека от ее предков. Тома классиков. «Всемирная новь» 1910 года – о смерти Льва Толстого, смерти сиамского короля и благородстве премьера Франции Бриана, который подавил забастовку железнодорожников, о «новомодных» фасонах платьев до пят и закрытой шеей; рассказы из жизни графов, сражениях и рыцарском благородстве аристократических героев, полет на дирижабле,

переезд на автомобилях, похожих на экипажи. Издание Лермонтова 1892 года с безапелляционными утверждениями в предисловии: «... по происхождению шотландец», и о страданиях его убийцы Мартынова. Листал его стихотворения и вспоминал, как жил ими в детстве. Даже в первом дневнике торжественно начертал эпиграф: "Каждый день/ Я сделать бы хотел, как тень/ Великого героя, и понять/ Я не могу, что значит отдыхать". Старые листы, старый мелкий шрифт с «ятями». У меня разное восприятие текста, если шрифт разный.

Нашел запретный ржавый томик Гоголя "Выбранные места из переписки с друзьями" 1900 года, где он меня поразил, что не знает общество и хочет "пощупать" его, выпустив "заносчивую, задирающую книгу", "встряхнуть всех" и с помощью их мнений исправить книгу. За что и кляли его современники.

Родители Кати жили своей жизнью, хотя издали опекали дочь.

Собрались подружки Кати, еще со школы, поступавшие вместе в университет, и по рекламному издательству, где она работала редактором.

Уверенная в жизни Галка, дочь репрессированного начальника стройки – ее с трудом пристроили редактором рекламного агентства, принесла бутылку "Лидии". Она болтала:

– Зашла в ювелирный магазин и удивилась. Раньше этого золота-серебра, мехов – полно было, и никто не брал. А теперь очереди за кольцами – толпами, да не по 100 рублей, а по 500 и больше. Давка!

– Лучше люди стали жить, обеспеченнее, – благостно сказала модно худая Валя. Она пришла с мужем, кандидатом наук из космического НИИ, с обоженной щекой. Тот вел себя развязно, пил и читал "левые стихи", пел про американских шпионов" с припевом: "И покажем им кузькину мать".

– Я люблю это вино, могу пить, как воду, – закричала Галка.

Валя, вялая, как рыба, покрывала ладонью рюмку.

– Не наливай, не пью. Как чуть выпью, так глаза болят – сосуды расширяются.

– Я не тебе, сама выпью

Красавица Елена, работающая диктором на телевидении, говорила:

– Сын стихи пишет, о зиме: уцепилась за сучки, снег развесила клочки.

Галка ляпает:

– Она не хочет из него поэта делать. Хочет – математиком. У самой двойки были по математике, вот она и считает, что математика – самое важное.

Валя – ко мне, счищающему кожу с балыка, из принесенной халявы валютного магазина:

– Какая у тебя жена, красивая, благородная. Смотри, не изменяй ей.

Моя любимая посуровела, ее коробило от лицемерия подруги.

Еще одна подруга, сослуживица из рекламного агентства Наташа, некрасивая и носатая, помалкивала в чужой компании.

Вспоминали студенческие годы, куда школьные подружки поступили вместе. Катя смеялась.

– В институте собрались перед экзаменом, пересказывали друг другу произведения. У всех каша в голове. Сдавали госы. У меня была юбка с большими карманами – мода тогда была. Галка говорит: "Принеси юбку". Они там ее по очереди надевали, чтобы шпоры прятать. Галке не повезло – заел замок на кармане, а в нем шпоры.

– А Катька подошла к одному парню, – засмеялась Галка, – и хлопнула его по плечу: "У тебя шпоры есть?" "Есть, есть. А у тебя?" Катька поворачивается, а это экзаменатор!

Катя подключила к разговору Наташу, подругу по работе.

– Как Томский, выздоровел?

– А что ему? Такой же бабник, хоть росточком не вышел. У нас девки говорят: сухое дерево в сук растет.

Я видел его, их сослуживца в рекламном отделе. Сын председателя профсоюзов СССР Томского, покончившего с собой после разговора со Сталиным, обещавшим ему не трогать семью, Юра был арестован в 16 лет и просидел до разоблачения культа. Вышел из лагеря весь какой-то разболтанный, с виляющей походкой, пугливый и в то же время гордый. «Сломали Юрия Михайловича, – говорила Наташа. – Сидел в одной камере с Бонч-Бруевичем. Когда вызвали без вещей, все понял – на расстрел, и отдал свои вещи Томскому».

Наташа переменяла тему, заговорила презрительно:

– А шеф-то наш солидный – как не стыдно! – поехал за границу рабочим, с гвоздями и молоточком – вынимать и снова закладывать макеты. Правда, я бы и судомойкой поехала. Подруги говорят: мы-то хаем, а сами того же своим мужьям желаем.

Жена моя морщится.

– Да, шеф тряпочник. Не люблю я это. Может и остаться за границей. Ты бы осталась? Я нет. Не из каких-то патриотических причин, а просто – здесь корни.

Красивая Елена сказала моей жене:

– А вот Веня твой поехал бы за границу не из-за тряпок, а понять что-то.

– А он такой, как я, – развеселилась Катя. – Надоело протирать юбку, редактируя всякую патриотическую дрянь. Хочется большего. Вот, тебе, Лена повезло.

– Внешний блеск, – усмехнулась Елена. – На самом деле талдычу ту же дрянь.

– А я бы поехала из-за тряпок, – горячо возразила Галка, обернувшись ко мне. – Брось ты свои поиски чего-то! А жену обеспечивать, и самому быть обеспеченным – мало? Это тоже неплохо.

Худая Валя, принимающая все, как есть, не соглашалась:

– Э-э, не осталась бы за границей... Кто знает.

– Ха-ха, – загоготала Галка. – Нет, бараны же вы, не знаете, зачем живете.

– Мне нужно самое простое, – говорит Валя, – нормального человека и нормальной жизни.

И вздохнула:

– Да, нам бы занять трехкомнатную квартиру, да муж бы за границу поехал, больше ничего не нужно!

Ее муж, бесцеремонно поглощенный едой, поднял голову и прикрикнул на нее:

– Иди сюда, надаю сейчас!

Насытившийся и пьяный муж Вали лез ко всем дамам, с бесцеремонной мужской уверенностью обнимал и пытался целовать взбудораженных женщин. Я понимал этого козла, лапающего всех баб, но когда он облапал мою Катю, хотелось дать ему в морду.

На кухне Галка говорила Вале:

– Ну и домострой тебе попался.

Та прятала глаза.

– Я его люблю.

На кухне Наташа жаловалась: конечно, возьмет ребенка от родителей на свою новую квартиру. Какое имею право на их шее сидеть? Ведь, ребенка родила я, он не их, как ты говоришь.

Я не понимал, кто здесь, зачем они говорят что-то не обязательное, и хотел и боялся остаться с Катей наедине, в нашем счастливом сне. Светлым пятном была только красавица Елена. Несмотря на мое окончательное успокоение в Кате, мне та нравилась, тем более она глядела на меня с несомненно женским интересом в темных глубинах ее еврейских глаз. Ничего здесь нет такого – мужикам, глубоко запавшим на одну, могут нравиться и другие.

Следующим вечером раздался звонок. Катя схватила трубку, и вся покрылась испариной.

– Я вышла замуж.

И разговор быстро свернулся.

Я спросил:

– У тебя кто-то был?

Она смутилась, и твердым голосом сказала:

– Был.

Я ужаснулся, боясь спросить: как долго?

Повернулся, оделся и пошел. Словно мне в волшебном сне нанесли удар ножом.

Она бежала за мной босиком по освещенной улице.

– Тогда я тебя не знала!

Вспоминаю, я тогда в ревности не различал ее прошлое и настоящее. Убыстрил шаги, и она отстала, рыдая.

Шел и воображал, как ее ласкает другой. Наверно, любила, с ума сходила. А он бросил ее, а теперь захотел продолжить секс. И, может, делала аборт от него.

Я накручивал себя. "Изменила мне, пусть и раньше".

Она любит не меня, – пронесилось в моей голове. – Вышла не по любви, нашла во мне тихую гавань после бурной жизни. Сколько лет она отдавала любовь другому? И наверно, еще любит. Любят лишь один раз. Я – лишь сожаление о той первой любви. Подруги, наверно, все знают о ее отношениях.

Вспомнил приятеля Тамарина. «Люблю я молоденьких девочек. И знаешь, у меня кавказский характер. Если кто есть у девчонки – ухожу, не могу. У них всегда еще кто-то есть. Но не могу.

Что во мне за кровь? Кавказская? Нет, русская, часть хохлячкой, и даже джурдженей (у дальневосточной прабабушки по матери, по легенде, был любовник джурджень)?

И я буду изменять ей, отомщу! Хотелось встретиться с тем, первым, изуродовать его.

Прекрасное тело ее казалось для меня проклятым. Измена – вне времени. Я стал понимать средневекового инквизитора, ненавидевшего женщин, исчадие греха.

Где моя чистая любовь? Теперь ее никогда не будет. Как я мог? Так нелепо испортить жизнь!

Меня корежила мука разрушения самого сокровенного, что хранил в душе. Наверно, все мое существо ждало того единственного света, что излечил бы меня от "замороженности" предков. Я впервые беззащитно открылся до конца, той первозданной чистотой, еще до вселения в меня замороженных генов предков, и словно в чудесном сне вдруг нанесли удар ножом.

Как мог так открыться, ведь в реальной жизни не бывает того идеального, для чего был рожден.

Что это за боль? Что такое потерянное счастье? Загадка.

Бродил всю ночь, разжигая себя, и думал о неудавшейся жизни.

Наверно, дело не в измене. Дело в том, что моя судьба потерпела крах. И чтобы это объяснить, понадобится рассказать обо всей моей жизни.

Вдруг опомнился, представил ее, босиком. Где она бродит, или вернулась домой?

И повернул назад.

3

Отторгнутый от всего мира, я забрел в редакцию журнала «Книжное обозрение». Там, в редакции, со стенами исписанными автографами великих писателей и не очень, болтали мои приятели, в основном еще с университетской скамьи.

Всегда занятый, углубленный в бумаги, главный редактор Костя Графов, от него отдавало спиртным, как будто это его запах от природы.

Нечаянно выдающий остроты Юра Ловчев, обаятельно юркий, и смирный интеллигентный Гена Чемоданов, оба из журнала "Молодая гвардия".

Толстый крепкий Матюнин – из ЦК ВЛКСМ.

Степенный маленький Коля Кутыков, поэт, с томом Николая Клюева подмышкой, издавший тонкую книжку стихов.

Литературный критик колченогий Толя Квитко, которого звали Байроном.

Худой и высокий Разумовский, или Батя, со староватым лицом и хищным носом, из презрения к Системе работающий в котельной.

Жизнь активна до безобразия даже при тотальном подавлении. Откуда-то прорастает новая свободная литература и искусство в среде безликих партийных журналов и газет. Тогда собирались кружки инакомыслящих, литераторов, художников-авангардистов, – на квартирах, в подвалах и на чердаках... Их гоняли, арестовывали, выдворяли за границу.

Наш круг собирался в журнальчике, не выделявшемся среди других государственных изданий. Меня тянуло туда, из мучительной потребности вырваться из неразделенной любви.

Менее пуганые, чем старшие, мы были дети "оттепели", жили ее поэзией, запрещенной литературой, в том числе диссидентов-зэков, доходящей до нас в «самиздате». Думаю, что на нас сильно повлиял первый полет Гагарина в космос. Вспомнил, как мы с приятелями, еще студентами, в людской реке вдоль всего Ленинского проспекта встречали весь в цветах кортеж, где ослепительно улыбался Гагарин. Голос Левитана на всю Красную площадь, многократное "ура!", разноцветные плакаты: "Космос – наш!" Нездешняя чистота московского воздуха и растворенная в нем человеческая радость, как писали газеты. Невозможно было узнать раньше брюзжавших людей. Грубые лица работяг тянулись к ослепительно улыбающемуся лицу с таким восхищенным вниманием, какого не предполагали в себе раньше. Объятия, поцелуи песни, водовороты плясок. Солидные люди на крышах, на деревьях. Кто-то с цветами продрался сквозь толпу и вручил их Гагарину (сейчас нельзя этого представить, снайпер снял бы в мгновение ока).

Толя Квитко со слезами на глазах клялся: "Пока не увижу Юру, не уйду!" Батя нес изготовленный им самим плакат: "Радость какой измерить меркой? Завидуй, Америка!", и под маркой всеобщей радости целовал какую-то красавицу взасос.

Программы телевидения полетели к черту, ТВ, как пьяное, перешло к чистой импровизации – такого еще никто не видел, и больше не увидит.

К глазам подкатывали слезы. Казалось, стала доступна вся вселенная, и мы быстро освоим ее!..

Но, странно, быстро привыкли. Когда позже наша ракета облетела Луну, рабочий автозавода добродушно сказал: "Летит? Ну и х... с ней, пусть летит". Это не касалось его жизненных интересов. Но в нас полет первого космонавта осветил будущее каким-то безграничным лучом света.

Заканчивалась оттепель, поднявшая волну «шестидесятников». Литературная жизнь снова вошла в привычное русло, дневала и ночевала на всесоюзных ударных стройках. Газеты писали: «Самое лучшее, что есть в человеке – радость творческого труда... когда видишь прокладывающего борозду – этот человек прекрасен». Воинственно отмечали подошедшее 50-летие советской армии и ВМС, по-ницшеански вознося солдата-сверхчеловека. Поэты-романтики оставляли «автографы комсомола на планете» – на фестивале молодежи.

Во мне не возникало такого чувства. Откуда они выжимают источник вдохновения? Из героизма на прошедшей войне? Но это другой источник – войны, а не мирного времени. Это надо же уметь перебрать в душе все постоянно употребляемые струны и найти струну, замаскированную под свежую и новую!

Мы тогда не спорили – можно ли жить и работать в нынешней структуре власти и быть честным, или нельзя обустроивать тюрьму. Вопрос так не стоял, ибо деваться из земной юдоли можно было только на тот свет. Все жили в тюрьме и обустроивались в ней. Это было во все времена. Если бы не выходили из любого положения, человечество бы не развивалось.

Раньше я не находил никого, родственного духу, кроме, конечно, умерших классиков XIX века, и диссидентов, изумляющих совсем другим взглядом на нашу жизнь. Но сейчас открылось, что я нашел живых близких людей, и почему-то среди них становился расслабленным, благодушным, наслаждаясь их дерзкой независимостью. Мой романтизм, раненный ужасной реальностью, был и у них. От этой жуткой реальности мы хотели улететь.

Юра своим подбирающимся к собеседнику говорком рассказывал о кружке заговорщиков в университете. Его приятель в 53-м поступил на филфак, в 57-м поперли. Он был в кружке, которым руководил один профессорский сын Колька. Устав был, программа. Узнали: Колька в КГБ имеет кого-то, и у него признали расстройство головы. Два месяца в Матросской Тишине, и снова в университет. Другой главарь – три года отсидел.

– Что там, Ницше читали? Шопенгауэра? – загоготал Батя. – Может, еще биографию Евтушенко?

– Нет, "Доктора Живаго".

Гена Чемоданов спросил:

– Это карманную книжку, изданную там без реквизитов издательства?

– Нет, отпечатанную на машинке, на папиросной бумаге.

Поносили руководство родного университета.

– Страшный маразм! Консерваторы. Вот был профессор Бонди – это да.

– Услышишь Бонди, станешь на всю жизнь бондитом! – ржал Батя. Колченогий Байрон кричал:

– Милославский? Подонок! Все лез в секретари комсомольской организации, и никто его не заблокировал.

– А помните всегда споривших правоверных доцентов Ухова и Нахова? – влезал Батя. – Нахов Ухову сказал, Ухов Нахова послал.

Вспоминали о протестах в мире. Костя восхищался Антониони, коего интервьюировал ловкий, могущий пройти между капель Генрих Боровик. Тот делает фильм о молодом протестующем поколении американцев. «У них протест глубже, чем у англичан, но – нет отчаяния».

Ощущение, что мои приятели тоже не выносят застой, в какой-то мере облегчало мою безысходность.

Правда, они тоже не знали, что хотят найти.

Как обычно, спорили о литературе.

Толстый Матюнин авторитетно высказывался:

– Чехов крыл Тургенева за "Отцов и детей", а сам своего фон Корена оттуда взял. Сейчас уже ясно видно, в чем нетипичен Базаров, где авторская выдумка не обобщает. Тургенев хотел показать новое мироощущение, сам сомневаясь – нужна ли поэзия, Пушкин, любование природой. Сейчас уже знают, кто такие рационалисты.

– А вот Лев Толстой оценил женщин Тургенева, – возмутился я. – Таких не было в жизни, но они стали после его романов.

Гена Чемоданов имел свою точку зрения:

– Блок в 31 год понял, что надо выходить из туманов в реальность. Улетая в утопию, снимающую стресс, романтики могут тянуть реальность к свету, но и уйти в мистику Золотого тысячелетнего царства, вплоть до фашистского Третьего рейха. Философ Мамардашвили утверждал, что двадцатый век – век чудовищного отвращения мыслящих людей от сознания, нужно восстановить в себе историческое сознание.

Раньше я не терпел бесстрастных «бытовиков», то есть натуралистов в литературе. Считал, что главное – выражение сильной эмоции, только и способной проникнуть в читателя. Но сейчас сомневался, слова Гены колебали, нужно ли полагаться только на субъективные эмоции.

Гена задумчиво сказал:

– Нужно очень поразмыслить над временем. Почему литература, искусство отошли от идейной и политической борьбы, превратились в искусство Горацийев?

Тогда у литературы было одно, провозглашенное самой системой, подавляющее все направление – "приподымание" советской действительности. Это направление утверждала литературная теория, выдуманная, потому что империи хотелось выглядеть лучше, пряча скелеты в шкафу, – социалистический реализм, якобы берущий лучшие спелые яблоки, а не дички, и где разрешалось лишь одно противоречие – между хорошим и лучшим. Это был некий выверт в правдоподобие, а попросту натужное вранье – в романтическом "приподымании" действительности в литературе, положительном герое и т. п.

Мы на дух не выносили этого лицемерного «приподымания» у советских поэтов и слишком серьезных романов маститых писателей с «крепкими седалищами», с их трогательными концовками изображения съездов победителей, удовлетворенных после жестоких боев с врагами революции. Это была мимикрия под «Оду к радости»: «Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!» Бетховен по стихам Шиллера сочинял это ослепшим, перед смертью. А поэт Фет написал: «Шопот, робкое дыханье, трели соловья» через год, очнувшись от молчания после гибели его любимой. Подкладкой к радости была трагедия человека.

Пыталось пробиться другое направление – неофициальное и гонимое: изображало драматическую правду жизни, уходящую в иносказательную глубину, чтобы существовать. Оттуда были появились ростки советской сатиры «новых Гоголей и Щедриных», провозглашенной Маленковым, но авторы были арестованы или изгнаны за границу.

Странно, что в то время господства социалистического реализма, отменившего все самодержавное и буржуазное, была разрешена старая гуманистическая литература, в сущности призывающая к свободе, как и изгоняемые советские барды, которая проникла в наши души. По сути классика, свободолюбивый камер-юнкер Пушкин, корнет Лермонтов, – это враги режима. Но эту суть молчаливо обходит расстрельная критика, их даже лицемерно чествуют, как своих, наверно, из-за критики дореволюционных устоев, или склонности народа к непровержимым нравственным качествам.

Наверно, классика и была зарядом замедленного действия, который разбудил революцию, снова вспыхнул во время великой отечественной войны, тлел и в тех шестидесятых, чтобы в дальнейшем обрушить систему. Тогда ее еще не покрыл легкий пепел новой эпохи после мировых войн, и холодных, и гибридных. Против лома нет приема, и грубый топот сапог по

душам показал всю бесполезность морали литературы, да и сама она стала предметом купли-продажи или просто развлечением, не имеющим отношения к серьезности положения населения. А весь интерес населения, ввиду бессилия решать вечные вопросы, перелился в мгновенно усвояемые живые картинки кино и телевидения.

Запертые к клетке социалистического реализма, не зная другой литературной жизни, мы лихорадочно искали что-то в книгах классиков, чьи гуманистические идеи представлялись неувыдающими и вечными.

—

Главред Костя Графов, наконец, сложил бумаги и махнул рукой.

– Пошли пить.

Шумя, вышли на улицу, серую и грязную в перспективе. Тогдашние улицы были естественно грязными и бесцветными, с громадами по бокам нереставрированных, тоже серых зданий, – они не были теми чуждыми новоделами и отреставрированными яркими зданиями, что стали сейчас, в начале XXI века.

Батя, в шляпе аспидного цвета с коротенькими полями, шагал, вдохновенно декламируя в сумрачное небо.

*И снятся мне горячечные сны,
Прносятся дымящиеся кони
По краешку нетронутой весны,
Распластанные яростью погони, —
Аж крестятся старушки на иконы...*

Гена Чемоданов морщился:

– Что это у тебя за романтическое желание подрасться?

Костя, после брошенных только что редакторских трудов, облегченно кричал:

– А-а! Я написал сценарий. Первый раз. Приняли. Книгу рассказов тоже. Пс-х-ха! Купил гуся, жена коченеет от гуся, и кучу денег домой принес, а все равно атаку выдержал, пс-х-ха!

По пути, между маленькими потасовками, авторы непризнанных произведений пытались увязаться за девушками, повинувшись инстинкту.

Зашли в привычную "Стекляшку" на Волхонке. Сюда приходила разнородная публика, от разных организаций, расположенных вблизи, в том числе и офицеры генерального штаба, мощное здание которого располагалось поблизости. Обычно разливали вино из крана, отчего забегаловку называли "Безрукий".

Заказали, как и остальные посетители, по стакану "солнцедара" и по соевому батончику на закуску.

Гена Чемоданов замахал руками:

– У меня печень, и жена ждет.

Повторили. Еще раз повторили.

Распаренный от выпитого, Байрон, падая в сторону короткой ноги, излагал свои литературные изыскания. Чехов тщательно выписывает и – злее Достоевского, который показывает людей великими, злодеями или страдальцами за род человеческий. А Чехов – мелкими, ничтожными интриганам. Он, ведь, равнодушен к человеку. Недаром об этом говорили современные ему критики.

– Неправда, – возмущался я. – Он хотел видеть в них возможности, тосковал о небе в алмазах.

Вышли отлить в подворотню. Батя, худой, с хищным носом, признавался:

– У меня есть общая идея, готовлюсь пока. Когда-нибудь выдам роман, за один месяц. Пока не знаю, в третьем лице его писать, или от первого лица.

– Будешь гением одного месяца? – серьезно спрашивал Коля Кутьков.

– Да, гением одной ночи. У меня идея – о культе. Но сейчас не пойдет, изымают все про культ. И беспокойство душевное не дает писать. Мысли о другом. Жду момента.

– Мысли о бабах, – усмехнулся Коля.

Батя ударил Колю по плечу.

– Я уж полгода не работаю. Святым духом питаюсь. Представляешь, уже полгода не раз-девал женщину.

Говорили о проблеме современного альфонсизма, ярко выраженной в Бате. У него самая большая беда – отсутствие близости с женщиной и близость к "Стекляшке" на Волхонке.

– А ты? У тебя с этим все в порядке? – грозно вопрошал Батя.

Коля, красивый, в мохере:

– Да, бросаю пить. Только сухое. По утрам зарядка с гантелями. Организованность нужна. С женой? Нет, не поладил. С ней все. Нужно знакомиться с молоденькой. Те, что за 25 – все стервы, все трупы прошли.

На улице дождь, холодный апрель.

Коля приставал к Бате:

– Ты позвонил любовнице, чтобы разделась голой и ждала тебя?

Батя радостно заржал. Коля кивнул на улицу впереди.

– Батя, вон твоя Фекла прошла с фраером. Кстати, эта б... не только тебе давала.

Батя вознесся в гнев:

– Не люблю такие безапелляционные приговоры! Б...! Надо добрее к людям.

– К такой твари – добрее. Каждому дает, как животное.

– Женщины ищут, – возразил я. – Причем тут твари? Если хочется семью, и нет счастья, то почему бы нет?

Я вспомнил свое положение, и стало больно.

– Да брось, каждому – это скотство... Я крестьянин в душе, и по прошлому. Такое скотство мне не нравится. У меня в юности случай был, с такой вот. Привязался к ней крепко, а она – каждому. Тьфу! Ненавижу.

– Не догадываешься, почему? Тебя просто не любили.

Я был у него в общежитии. В его комнате старинные иконы (он отмыл подобранные в избах), прялка, гребень, лапти, маленький колокол XVII века, изготовленный Василием Бородиным, черпачок Ивана Грозного.

– Батя, вот она опять! Ишь, глянула, и отвернулась. Говорил тебе, с пижоном очередным. Зонтик яркий, а глаза пустые. Точь-в-точь, как в юности. Тьфу!

Пьяный Матюнин заплетал языком:

– Все вы – подонки. Везде оставляете детей. Если связал судьбу – тяни до конца. Семья будет главным и в будущем.

– Это ограниченность обывателя! – вдруг разозлился Коля.

Мне показалось опасным – узнать что-то о себе в плане семьи, эгоизма, идеала.

Если бы бог обнажил души мужиков, закрытые в отношениях с женщинами, словно толщей мутной воды, приспособливающиеся ко дну, то обнажилась бы такая тина, такой харасмент, чего они никогда не выдадут, хоть вешай их вниз головой.

Мои друзья были в вечном жестоком противоречии ранимых писателей, пусть даже и графоманов, со своими женами и тещами, требующими заботиться о семье.

4

На работе мне было легче, так как, слава богу, мог не открываться своим сокровенным, – никто бы и не понял. И они не хотели бы открыться, чтобы не плюнули в святой колодец.

Наш отдел находился в подвале, в длинной комнате под высоченными круглыми сводами. Наши эксперты проверяли во всех районах страны качество партий различных товаров, производящихся в Советском Союзе и за границей. Здесь был особый канцелярский дух новой власти, уже устоявшейся и привычной.

Вдоль стен – столы сотрудников. У двери, загороженная шкафом, смиренно сидела полная, хищно красивая Ирина, консультант. У нее чудесная прическа, не похожая на «халы» наших сотрудниц, что-то под западных актрис.

Татьяна Прохоровна, начальник отдела, сидящая впереди как бы во главе столов, крупная женщина с ярко накрашенными губами и по-девичьи веселая, отчитывала эксперта:

– Так нельзя, Пантелей Власович! Я, как юрист, говорю: надо иметь мужество признать ошибки... Мы защищаем с вами неправильную экспертизу. Эксперт должен записывать в акт то, что видел. Если гвозди – 100 мм, значит, так и пиши. Повторная экспертиза подорвет наш авторитет.

Она встречала меня как сыночка.

– Какой ты худенький!

И, опекая, причитала.

– Что ты у меня бледненький такой?

Кадровик и секретарь партбюро Злобин, громыхая дверцами металлического несгораемого шкафа, добродушно приговаривал:

– У Венюши слишком юное лицо, хотя окончил институт. На нем ничего плохого не отражается.

Он тоже опекает меня.

– Я его тяну. Старики говорят, молод еще, мало работает. Ишь, за него тут, а он бездельник. Ленив ты, Веня, ох, ленив! Я говорю шефу – первый пункт у нас тут Венюша не выполняет: «Никогда не опаздывай, когда приглашают!» Остальное всегда выполняет, особенно когда выпить приглашают. И не читай за столом... Эх, ты, это же для тебя лучше – за границу легче поехать. Если бы ты был экспертом по качеству, хоть завтра бы тебя оформил...

– Я знаю больше, чем вы думаете, – подыгрывая, ворчал я. – Премии-то мне вы, вы не дали. За то, что не веду общественную работу. А у меня большая нагрузка, я главный редактор стенгазеты.

– Мм... Да ты... в рабочее время ее выполняешь.

– Как все.

– Вот-вот. Да еще личными делами занимаешься. Кстати, будешь моим заместителем по комсомолу?

Я думал: да, в раба превратит. К такому – лучше подальше, затыркает.

Напротив меня – с горделиво поднятой головой насмешливая Лариса, схватив руками плечи:

– Я страшная трусиха! Кошмары снятся. Хотя в детстве не хотела быть девчонкой, до 15 лет стриглась наголо. Мне подруги доверяют все тайны, я такая – не выдам.

– Брось, – робко говорил я. – Тебя самую боятся.

Вначале она мне нравилась. Но та вглядывалась в меня.

– В тебе, между прочим, есть что-то лисье, в нижней половине лица. А выше – хорошее лицо.

– Неправда, – засмеялась Прохоровна. – У него и моего сына затылки одинаковые, винтажные.

Лариса разоблачала меня:

– Раньше ты казался интереснее, но уважения было меньше. Почему? Натянут, напряжен с людьми. Ну, поговоришь с тобой, ты мне любопытен, узнать человека хотелось. А отойдешь, и с облегчением. Я равнодушна к тебе, нет желания видиться. Впрочем, не люблю, когда привыкаю к людям. Чувствую себя хорошо, сама собой, когда люди новые.

Мы были разной крови – она презирала меня, якобы, за мой похотливый взгляд на нее, и я оскорбленно презирал ее, не знаю за что. Она не понимала, почему я так неуклюже, что ли, разговариваю. "Мой Борис толково говорит, и очень округленно, плавно".

Сидящая сзади меня Лида, подруга Ирины, затаившейся за столом у двери, при первой встрече год назад показалась мне злой. "Ты, наверно, порядочный". Я подтвердил. "Все вы, мужья... Трудно с вами женщине. Такая природа, что ли?" «Мы разные» – сказал я. «Да, конечно, мы разные».

Она, еще привлекательная, с интеллигентной внешностью, закрывая шарфом шею вполголоса передавала мне сокровенное, когда никого не было рядом (я был ее доверенным лицом):

– Да, жизнь... Ждешь, ждешь, а счастья нет. Вышла замуж, так, не по любви. Развелась. Она вздыхает.

– Развелись давно, он женился. И все ко мне приходит. Не могу, говорит, от тебя отвыкнуть. Я ему: «Подонки, не нужен ты мне, чего ходишь?»

Внезапно, с тусклым взглядом и опущенной бессильно душой. Я жалел ее.

– Ты что-то скрываешь. Видно, еще не все кончено у вас.

– Да нет. Из-за него настроение такое бывало, что жить не хотелось. Соседи даже послали заявление в милицию. Меня вызвали: муж бьет? Я испугалась, все-таки милиция. «Да нет, бывают ссоры, так что ж такого...». В общем, выручила. У меня характер такой – всех жалко. А вдруг он в тюрьму сядет?

Она пригорюнилась.

– всю жизнь так. Был один, идем в кино, вдруг кто-то из знакомых навстречу: «Лидка, ты?» И руку на плечо. Он же не знает, что у меня новый. А тот начинает: ты такая сякая... Думала, вот придет счастье – полюблю кого-нибудь, и будет тогда жизнь, а это "пока" – временно. Прожила долгую жизнь, и поняла: и там потеряла, и тут ничего нового не пришло. Хочется встретить человека, который бы понимал... Моя мечта – боготворить кого-то, изумительного, единственного. Все-все могу отдать, всю себя.

– Ну, допустим, мечта осуществилась, – скрыто иронизировал я. – А дальше?

– всю жизнь буду боготворить.

– И все?

В ее глазах непонимание.

Вслух, при всех, она объявляла:

– Верчусь, вот, на общественной работе. Кружки у меня – ужас работы. Я талантлива во многом, но за что взяться, не знаю. Купила краски, буду снова писать. Или петь. Но – не пробьешься. Перешла в эксперты. Нет, не совсем то, о чем мечтала. Да-а, так все...

Прохоровна осаживала ее.

– Болтаешь, а надо действовать. Вон, Лариса – у нее ребенок, а – язык выучила. А Лиля – консультантом стала, так как занималась, работала.

Рядом со мной стол Лили. Когда мы познакомились в первый раз, она спросила: «Вы пьющий?» И зарделась – сморозила. «Как вы догадались?» – спросил я. Она показала мне книжечку о психологии алкоголика. «А знаете, вы не кажетесь начитанным», – и в краску. У нее манера: говорить правду, тут же пугаясь откровенности, и собеседник теряется.

Она с красными от слез глазами. У ее деда желтуха, а с ним ее ребенок. Что делать, оставить некому. Шеф следит за всеми, чтобы не уходили раньше.

– Тяжело с родителями. Они с дедом – обвиняют меня. Саша похудел – не кормишь. Саша потолстел – что-то нездоровое. Во всем меня обвиняют. Неужели все такие?

Я бегал к шефу просить за нее. Та вслед:

– Шеф каждого вызывает поодиночке, и поручает следить за приходом сотрудников на работу.

Тот встал, и сурово:

– Я сам у Президиума отпрашиваюсь. Это Прохоровна на вас отрицательно влияет.

Сзади стола Прохоровны, около меня, тянулась к ней крепенькая фигурой Лидия Дмитриевна, доверительно говорила ей:

– На всю жизнь предубеждение против грузин. Без очереди лезут, говорят: «Нам сзади женщин стоять нельзя, мы темпераментные».

И вздыхала.

– Встречалась с Семеном Моисеевичем, из канцелярии. Чуть замуж не вышла. Если бы он не был евреем!

– А что так? – спрашивала Прохоровна.

– Они трусы. Предадут. Без души. В концлагере, в Польше, спровоцировали восстание, а сами в сторонке дрожали. А кто был в партизанах Белоруссии? Не они. Они-то у своей кучки золота. Или банкет устроил Хайм, на какие деньги? Ясно, за всю жизнь такие деньги не заработаешь. Все – аш-баш. А в американскую войну...

Глазки ее загорелись.

– Один – окончил школу генерального штаба нашу, герой Советского Союза. Сейчас – начальник штаба войск Израиля. Методы – фашистов, а тактика военная – наша. Теперь строжайшее секретное распоряжение правительства – евреев не допускать в военные академии, и воздерживаться пускать за границу. Я не антисемитка, но такой у них характер.

Ее не любили, но спастись от нее в коллективе было невозможно. Как-то я спросил Прохоровну:

– Как вы можете с ней разговаривать?

– А что? – удивилась та. – Она жестока, но с ней интересно разговаривать.

Она напомнила виденную мной следовательницу, которая с удовольствием трепалась с пойманным бандитом и разбойником.

Эксперт Федоренко вмешался, булькающим голосом, от которого хочется прокашляться:

– А арабы – как намаз, так ружья бросают, подходи и бери их. А по воскресеньям офицеры с оружием – домой, к своим четырем женам. Попробуй, заставь остаться в окопах! А вы – дисциплина. Фанатики. Сам Насер молится, его по телевизору показывают, и весь народ молится.

—

На обеденном перерыве разговаривали о недавно введенной пятидневной рабочей неделе.

– Все женщины говорят, что стало еще хуже: муж пил один раз в неделю, теперь – два раза.

– А жена работала одна по хозяйству – шесть дней, теперь – семь.

Прохоровна охала, в заботах об учебе сына. Наняла учителей.

– Скажут – руку отрежу для него. А какой он был маленький! «Миканчик, хочешь сделать плюшку?» У него – колокольчик.

Мечтала о его будущем. Потом говорила о муже, стесняясь его невзрачности и маленького роста. Раньше жила все время с мыслью, что с ним – временно, полюбит другого – и уйдет. А сейчас смиряется, он с юмором. Ночью приснилось – умер, и плакала. Утром ему рассказала – он любил ее. Он на 10 лет старше, и, как к старшему, привыкла к нему. Ну и потому, что уйти свободно нельзя, ни даже остаться у подруги.

Она намеренно восхищалась своим маленьким и коротеньким нелюбимым мужем, чтобы оправдать себя в глазах других. О себе же говорила откровенно:

– А-а, ничего не приобрела. Никаких духовных интересов. Порастеряла только... Сын, вот, двойки домой приносит. Почему, не пойму. Слабенький, трудно ему. И не верит ни во что. Говорит: зачем все это мне?

– Надо его заставлять, – говорил я, не зная, что сказать.

– Да, заставлять... Как я его заставлю? Самое страшное, никто не виноват. Сама, только сама.

У нее покраснели глаза.

– Вот так, для себя любишь человека, а вырастает... Надо, вот, учебник ему достать. У тебя нет?

– Почему вы? Он сам не может достать?

– А-а...

У женщин в нашем отделе сложная жизнь. Поражало обилие мужских измен и отчаяние брошенных женщин. Я и сам чувствовал себя виноватым перед женщинами.

Странно, я почему-то лгну к несчастливым. Или их больше, чем счастливых? Или счастливые в наших условиях – сомнительны?

Но и мужики не блистали счастливой семейной жизнью. Набившийся мне в приятели начальник отдела Игорек, одутловатый, с бегающими глазами, ныл под ухом:

– Спрашиваешь, почему ссоры? Мне сорок – возраст, ой как, дает о себе знать, был разведен, и снова разводиться? Хочу преданную, чтобы за мной куда угодно.

Его жена уходит от него с ребенком, потому что он, по его словам, пропал у больной матери.

Мы с ним часто бродили после обеда в Кремлевском саду. Рассуждали о любви.

– Есть у меня одна...

И он замолк, испугавшись чего-то.

Он осторожен, опасается раньше положенного идти обедать. Ест по пословице: завтрак съешь сам... Не берет первое, чтобы отечности не было, в общем, чувствует возраст, когда уже понимают меру.

Все вокруг меня – в сущности одинокие или заикленные на семейных несчастьях, любви и измене. Мне становилось легче в этом другом мире, где каждый занят своими заботами, и не знает ничего о моих переживаниях, и я им не нужен. Ощущение моего одиночества с другими одиночествами как-то скрашивает существование.

Биографии моих сослуживцев были почти одинаковыми. Все из благонадежного трудового народа, потомки оторванных от земли выходцев из деревень и сел, посланных детей учиться в город, чтобы те не стали такими же неудачниками, как они сами. Вот дети и выросли отщепенцами деревни, новыми городскими людьми, живущие в "хрущобах", «образованцами», еще не укрепившимися в культуре.

Никто еще не знал, что это тяготящее существование не окончится с обрушением системы в бездну хаоса. По мнению моих приятелей, народу был нанесен большевиками невосполнимый урон, закрыв ему мировую культуру и «опустив» до примитивного опрошения убеждений. Пришедшая из лагерей армия реабилитированных пополнила озлобленных людей.

У меня все же есть свойство писателя – жалеть одиноких, несчастных в любви, чьи судьбы, известно, ничем не кончатся. Таких, как Лида, Лиля. И не любить уверенных, убежденных в своей конечной правоте, как Лариса или Лидия Дмитриевна...

Вошел старик – эксперт.
– У вас душно так. Фуу...
И помахал папкой перед лицом.

Собрались в кабинете шефа на совещание. Шеф, массивный и солидный, в хорошо сидящем костюме, слишком озабоченный, чтобы терпеть легкомысленное отношение, сурово говорил:

– Мы своей работой должны выражать недоверие, поймите. А сами неаккуратны в работе, грубы в письмах, недоделки оборачиваются бюрократической перепиской, нужна полная загрузка себя, и не перекладывать своего дела (мол, не могу решить) на руководителя. Меня настораживает, когда с какой-нибудь базы звонят: «Пришлите эксперта Иванова, никакого другого». Снюхались? А вот когда в актах экспертиз пишут: "в результате небрежной носки" – обидно покупателю.

Обсуждали претензии румынских экспертов. Они в своих мебельных проспектах объявили: "Просим советских граждан покупать нашу мебель с доставкой к месту". И перевели свои цены на советские рубли. Оказалось – сервант стоит 24 рубля, а у нас – 280. Посыпались заявки покупателей. Но стали задерживать. Внешнеторговое объединение разослало письма: для покупки румынской мебели обращаться в наши валютные магазины. Это – как с английскими лакированными туфлями.

Обсуждали методику контроля за забоем животных в стране. Это начиналась позже нашумевшая история, когда в рязанской и других областях поголовно забивали домашних животных.

Прохоровна была встревожена.
– Забивают даже худых, третий сорт. Что делать?

Молодой эксперт из региона сказал:

– Всех коров свели. А у нас грудной ребенок. Жена прямо ревет, не знает, что делать. Я к директору колхоза: "У вас же молочная ферма, дай для ребенка". А он: "Не могу, план надо выполнять по мясу. Выкручиваемся. Сухое молоко достали.

– Что делать? – строго, с натугой сказал шеф. – Подходить строго. Ведь мы нейтральная организация, зачем нам шишки нужны?

Эксперт по домашнему скоту сипло сказал:

– Там обязательства на себя брали.

– Вы эти идеи бросьте. Что там за установку дают? Немедленно созвонитесь и разъясните. Нечего прикрывать тех, кто виноват в сплошном забое.

– Это государственная программа, – сказала Прохоровна. – Требование выполнить план по мясу. Вот на местах и выполняют план любой ценой.

Все замолчали.

Шеф проворчал:

– Преувеличиваете трудности, как всегда.

После совещания Прохоровна осторожно вытирала платком заплаканные глаза.

– Если хорошо сделаешь, скажут: партбюро поработало, если плохо: это Прохоровне поручили, а она подвела.

Она вытерла глаза.

– От Сталина осталась – безответственность. А-а, мол, много ли мне надо. Предложи начальству, сверху до низу, свое – так они выбросят, и по своему. А как надо? Предложил? Пожалуйста, делай. Но ответишь, если плохо. Вот как надо.

Меня назначили редактором стенгазеты. Это была отдушина, я мог хоть что-то делать свободно, упражняться в исследовании крошечного участка системы, выпавшего из цензуры, – одного «гадючника», то бишь коллектива. Само собой придумался сквозной сюжет – бог Меркурий обходит отделы и филиалы Управления. Выбирал смешные цитаты-афоризмы из объяснительных записок, актов экспертиз: "Оцените мою шубу, ее только что украли", "Рукава вшиты в зад", "Дыра цвета и запаха не имеет", "Рубашка оказалась брачной", "Эксперту предъявлена подмоченная литература" ... Даже высказывания кадровика, например: "Смотрел кино: такая порнография – чуть не уснул!" Писал сатирические заметки, "дружеские" эпиграммы, И удивлялся, что пишу не на свои темы, и получается. Это оттого, что, как сын среды, писал для среды, которую это интересует, задевает. Там есть мое отношение, часть существа, изнутри.

Скоро должен был быть смотр стенгазет министерства. Я сомневался: сделай газету конкретной, объективной, страстной, – и скажут: что-то ты... того... убрать бы... Как в газете к 8 марта, когда члены партбюро крутили носами: "Голая женщина у вас там... чужие нравы". Особенно начинают тупеть, когда в газете много юмора – нет ли там намек на тех, выше? Привыкли читать передовицы газет. Я старался все писать сам, чтобы избегать словесных шаблонов, и для яркости привлек чудесного художника из министерства.

Мои друзья бы поиздевались моими упражнениями в стенгазете – я неожиданно увлекся сатирическим взглядом бога торговли Меркурия, обозревающего наше экспертное хозяйство. Писал юмористические заметки с какой-то веселой усмешкой, от желания надерзить. Даже заметку «Как я был экспертом» писал с ликованием – как будут читать. Тогда еще не совсем понимал выражение А. Блока: «Обычная жизнь – это лишь сплетня о жизни», и нужно переключение из личного переживания в историческую глубину.

В курилке Ирина, затянувшись, хмурится.

– Хороша твоя Прохоровна! Строит из себя аристократку. И откуда это у нее? Ее, ведь, Геня-коротышка воспитал. Он ей очень много дал – все ее лучшее от него. Сам он интересный и остроумный.

– Не знаю, – колебался я, глядя на ее полные губы и на что-то волнуемое голое у выреза мохеровой кофты. – Вижу ее недостатки, иногда стыдновато – строит из себя девочку. Но ко мне хорошо относится, и я к ней тоже. При ней меня тянет на юмор, и состояние такое...

Она тушит папиросу.

– Ну и мальчик ты!

Ее, видимо, тянуло ко мне, и меня к ней тоже. Она рассказывала:

– Я раньше отпрашивалась у Прохоровны. Она все время: «Вы где ходите?» А теперь ухожу, когда надо, и ничего не говорю. Они все такие – чуть поддашься, сядут на голову. Тут – или она, или я.

Она помолчала.

– Я иногда говорю грубо. Люди, которые не по мне, для меня не существуют. Не умею скрывать своей неприязни. Раньше была чистенькой, как, вот, Лиличка, стеснялась. А потом

как-то все изменилось. С женщинами не могу разговаривать. И правильно мужчины делают, что не уважают баб. И не надо их уважать.

Что я любил в ней? Естественно, тип независимой прямой женщины. И в ней было нечто, что отвергало нашу надрывную жизнь.

Когда все с нетерпением уходит с работы, мы с Ириной как бы собирая документы, задерживаемся. Она чем-то похожа на Ольгу Ивинскую, жену Пастернака, я видел ее на его людных запретных похоронах.

Отбросив книгу, она в смущении говорит:

– Читаю дневники Веры Инбер: «Уф! Сегодня сочинила самую трудную строку. Была там-то. Очень интересно!» Этот маленький женский восторг, стиль обыкновенной старушки, осознающей себя живым классиком, так как ей в годы культа внушили, что она классик.

Муж у Ирины в ЦК комсомола. Она хмурилась.

– Ненавижу этот ЦК комсомола. Здание его модерновое, диваны, скоростные лифты. Сидят и пишут: вкалывайте, давай бетон по две смены, романтика... Захребетники в шикар-ных условиях. Один из приятелей мужа побывал в Америке, прибахлился, а потом в книжке облил страну помоями. Я понимаю – они нас, мы их. Но зачем орать, что они лживы, а правда за нами? Что порядок и модерн в отелях стандартизован и однообразен, лишает индивидуальности.

Она шептала мне:

– Смотрю на твою голову с милым затылком, и радуюсь, что ты есть.

Я не знал, что сказать.

– Нестриженным.

5

С тех пор наши с Катей отношения изменились. Я словно запер дверцу в детскую беззащитную чистоту, боялся боли и не признавался в этом даже себе. Так безопаснее. Но ревность и ощущение, что меня не любят, мешали моей горькой любви к жене. И был постоянный страх потерять ее.

Я ушел в себя, читал и пытался что-то писать, искал себя, хотя не понимал, что это такое, только смутно чувствовал какие-то отлитые в типы смыслы моей жизни.

Я не считал себя бесталанным. Но нужно ли учиться писать, чтобы на выходе оставался непонятым смысл существования? Наверно, мог бы, как Костя Графов, но писать о том, что видел, просто отражать реальность было не интересно. Все казалось повторяющимся, и потому скучно, даже постыло, не было энергии продолжать начатое, ибо не умел осмыслить увиденное, и это осмысление продолжается всю жизнь. Хотя Лесков "списывал живые лица", передавал действительные истории, и вошел в литературу интересным писателем. Но мне нужно было отойти от нашего застоя, воспарить воображением – и оттуда четко увидеть полный ландшафт действительности, ощутить смысл. То есть, когда изображаешь не то, что есть, а свой взгляд на него. Моя изначальная чистота, исцеляющие побуждения как бы вырываются из решеток клетки существования, где томилась в вынужденной покорности обстоятельствам. Тогда я не тот внешний, за кого себя выдаю.

Однако я не понимал, почему скатываюсь в чужие строчки, и отравляла мысль о бездарности. Писал рассказы, ощущая лишь красоту, например, озера Байкал, и совершенно не понимал, что литература – это не только личное отношение к материалу, а его глубинное осмысление – до осознания смысла трагического развития самого человечества. Получалось писать фельетоны (в моих генах странное расположение к сатире). Я их печатал в журнале "Книжное обозрение". Но высмеивание могло плохо кончиться – сразу загребут вместе с рукописями. И потухало воображение.

Достоевский в "Записках из мертвого дома", на фоне нечеловеческого существования людей, изображал арестантов – разбойника Орлова с железной волей, и т. п. Ему давало силу писать нечто жгучее в глубине его природы – страшное любопытство понять русский характер, себя и эпоху. Вернее, наслаждение открывать свое отношение к среде, а не изображать то бескрылое, что есть. Все, по сути, у него написано на эту тему. У меня же не достает страсти, то ли от недостатка воздуха, то ли подлинного образования.

Откуда во мне отсутствие энергии? Это зависит от желания возжечь в себе нечто окрыляющее, любовь к тому, чем и не жил. Но я не любил мою серую жизнь чиновника, да и люди не вдохновляли. Оставалось только удовольствие находить слова, точные моему душевному настрою, – это все, что привлекает в писании. И слова находят тем быстрее и органичнее, чем сильнее переживание опыта.

Как-то мы смотрели в кинотеатре фильм «Старшая сестра». Когда одна из сестер ходила с любимым по холодным улицам – некуда приткнуться, жена заплакала.

Я представил ее первую любовь, как после школы ходила по холодным улицам, обнимаясь со своим любимым, декламировала из «Войны и мира» Наташу Ростову. Воображал ее с парнем, наклоняющимся над ней.

И было больно. Неужели бывает и с другими, как у меня? Сколько случаев, когда добиваются замужней женщины, и живут счастливо? А если жена в темноте по ошибке переспит с другим парнем? А если ее изнасилуют? Моя ситуация такая же? Или ревность – из неуме-

ния отличать прошлое от настоящего? Воображение делает прошлое настоящим. Или какой-то бешеный эгоизм?

Наверно, ее школьные подруги знают всю подноготную о ее любви и отношениях с тем парнем (или матерым мужиком?). Но я никогда не смог бы заговорить с ними об этом.

Я страдал оттого, что так устроена жизнь – делает больно, когда на невинность обрушивается грубее колесо реальности.

Почему так? Я пришел к мысли, что любовь и секс не зависят от отдельного человека, это что-то в природе, движущее мироздание. Всемирное движущее начало. Человек, все живое только используют этот инструмент для своего продления. И воспринимает как трагедию, когда возникает какой-то дефект в этом инструменте.

Вспомнил стихотворение:

*Да мыслимо ли исправлять миры?
Какая мука у звезды сверхновой,
Когда поля вопят, летя во взрыв,
Чтоб стихнуть в бездне пылью одинокой?*

Вскоре мы узнали, что Катя беременна. И уйти я точно уже не мог.

Пришла телеграмма от моей мамы: "Встречай".

Я позвонил. Услышал отца. С мимикрией забитого человечка, он порывался говорить на "вы": "Живем, хлеб жуем, манку посеял – собирать некому". Взял у него трубку брат Витя: "Приезжай, походим. Я кандидат в мастера по штанге, начальник БРИЗа. Встречай маму".

Наговорил на 11 рублей.

Не видел ее десять лет. Правда, они писали письма. Мама – простые и чистые, с перечислениями дел, заработков, малограмотные, но удивительно "материнские". Милы были ее фразы, и мы похихатывали. В письмах же отца – сплошное выпендривание, с концовкой: "Целую много раз, еще бы раз, да далеко от вас".

В аэропорту маялся у панорамного окна-стены, глядя на прилетающие самолеты.

Взлетел самолет справа, сигарой вошел в воду дали, оставляя тающий дымок. Смотрел на просторы аэродрома, под самолетами возню машин и людей в высоких фуражках с крыльшками вразлет, с озабоченным видом, не глядящих на нас. Вспоминал детство, и хотелось плакать.

Рядом стоял старик, попахивающий водкой:

– Гляди, как щука в воду – ушел. А? Я сюда из Домодедова ежу. Пива выпить, погулять. Тут в детстве грибы собирал. Лес был рядом, а теперь – эвон, у горизонта. Выкорчевали. Да-а, миллионы пошли сюда.

Ночь. На открытой площадке до горизонта – цепочки синих и красных огоньков. Рев самолетов нарастает до невозможной громкости.

Я хотел спрятаться – так она похожа на нашу толстую соседку тетку Ленку, мелко завитая, со слегка раскосыми глазами. Ее товарки из рейса бесцветные, одна с ярко накрашенными губами запричитала:

– Ой, худой же ты, у матери твоей, как увидела, аж сердце екнуло.

Мама поставила чемоданы.

– А ты похож на отца – до чего худой. Отец послал проверить, как живешь. В случае чего, всех разнесет у вас, сказал.

Я взял ее чемоданы, неподъемные.

– Это вы все – на себе? – стало больно за нее.

– Рыбка копченая для вас, гостинцы.

По дороге она рассказывала об отце, о брате Витьке. Он строится, купил две тонны цемента, десять тыщ штук кирпича. Только стен нет. А как же! Хочет своим домом зажить, ни от кого не зависеть. Мы тоже хотим ближе к вам поселиться, где-нибудь в селе с речкой. Отец хочет на север завербоваться, чтобы пенсия была больше, да я против: ну его! На наш век хватит. Сейчас на деньги не смотрим. Купили по пальту, китайскому, все прочее. Правда, едим мало, не хочется. Ни мяса, ни рыбы. Старость, наверно. Пьем, правда, много, воды.

Доперлись с чемоданами до дому. Катя оглядывала мою мать с огромным любопытством.

Потом сидели, ели мамину красную рыбу, и вспоминали, до сумерек. Как на Дальнем Востоке жили, как горбушу таскали из моря, и сельдь – косяком шла и военные ловили, и про соседей, что нашу горбушу на стене сушеную забрали.

– Ой, рыбы было, и корюшки всякой!

И про черненького поросенка Малютку, что с кошкой играл, и просился всегда только наружу. И про учительницу Орлову, что меня любила, жаль, что не взрослый, вышла бы замуж (я, помню, во втором классе ее любил, как женщину – она мне снилась, почему-то в крови). И о пионерлагере в Нельме, как я на катере плыл, хвастался, а сам побелел в открытом море, и как с дружкой моим дрались: «У, пош рыжий!» «А ты клыкаштый!»...

Вспоминала, как переезжали в городок Совгавань, плыли на катере, бабушка с горшком в воду упала, ее вытащили баграми – она держит воду во рту, глаза выпученные. Потом она: «Вода-то солоная». Она всех вынянчила. "Правда, я все делала по дому. Она и не знала, что такое полы мыть. Я с детства полы мыла".

Она говорила ровным голосом.

– Да-а, молодые были глупые – уехали в Сибирь, в Канске лучше всех жили, а потом уехали, в голод, на Кавказ, яблочек захотелось. Свету бы, сестру твою, не потеряли. Отец ее любил очень. У нее же корь была, а простудили – оглохла совсем. А врачи от скарлатины лечили. Воспаление легких с двух сторон. Он чуть не убил врачей, все прогоняли его, а он возвращался. Да, если бы сейчас, вылечили бы, осталась бы жива-здоровая.

Мне виделась моя сестричка, в печальном тумане.

– Отец много крови попортил. Не было никакого контроля – избаловался. Бабник был страсть. На Кавказе – ели черемшу. Я орешков чинарей насбирала – послала его в Орджоникидзе продавать. А он пустой пришел: «Купил мешок картошки, хлеба, того-то, а меня с машины сбросили». Я ему: «Ах ты! Врешь все, где деньги дел?» Даа... А потом в Хадыжах спутался с кем-то. мне твой брат Витя все рассказал. Я завербовалась, хотела уехать, вас забрать. А он сдрейфил и – вымаливать прощения. Ну, в конце концов, плюнула – куда я с детьми? Все хотела разводиться, а сейчас незачем. Теперь он изменился – часто плачет, вспоминает старое, свои несправедливости. Меня теперь боится. Не люблю я, когда выпивший приходит – ты чего, говорю, отойди. А он: «Я ж ничего, не дерусь, мамка, не серчай».

Катя торжествующе смотрела на меня. Я вспоминал, как отец порол меня, зажав голову между ногами, и его ласковые руки убийцы.

– Да, хвастун он порядочный. Страсть любит объяснять, поучать – хлебом не корми. А ты отца страшился. Конечно, когда здоровый дядька бросается на маленького. А он еще смеется, старикан.

Мы с Катей уложили ее спать. Она уснула.

Катя смотрела на меня по-новому, загадочно. Наверно, я предстал перед ней в истинном свете.

У меня ушло видение соседки тетки Ленки, и саднила какая-то глубочайшая грусть. Катя вздохнула.

– А у нее глаза умные.

Я вспоминал детство. Оно виделось мне как шаткий висячий мостик, опасно качающийся над багровой бездной, по которому шел в восторженном ужасе (видимо, это было во время переездов). Начало жизни в первозданном краю, в поселке Гроссевичи (назван по имени первопроходца).

Первое воспоминание: яблоня с маленькими красными "райскими" яблочками, кто-то хромой и страшный с железной ногой. Поле, восход, изморось до горизонта, а там за ним – какая-то первозданная, античная страна (а ведь тогда ничего не знал о древнем мире).

И сказочное путешествие – наш переезд в приморский городок Совгвань. Любимый город можешь спать спокойно... Вспоминаю что-то родное – город детства. Сказочный город с сияющим заливом полукругом, сырая пристань, рыба "упырь", прибитая к берегу, и рыбак бил водяную змею о плиты.

Помню себя под столом, и кружится черная пластинка: "Вставай, страна огромная..." Игра в войну, в кочках и какой-то пахучей траве, когда припадал за ними, захватывало дух.

Первое чтение книги "Чук и Гек", которую читал "по буквам". Помню пожелтевшие страницы про какого-то Левина в усадьбе. И книгу "История гражданской войны", там солдат с протянутым огромным кулаком и жгучими глазами. И еще – книгу про отечественную войну, с жутким рисунком Зои в петле. И, как на конвейере, быстро рисовал цветными карандашами портреты вождей один за другим.

Голодная жизнь, мешок картошки в запасе, разговоры юркого отца, дележ хлеба, стрельба уток из мелкокалиберки, и за рекой, где бегут вверх сопки, – страшный темный лес как в детской книжке "Лес шумит" Короленко, которую читал с ужасом. И – я больной, в санках, закутан до глаз, звезды вверху, и счастье запеленутого в заботу родительскую.

В центре целый дворец, здание обкома. Около большой стенд, на котором записаны трудовые успехи колхозов, почти все имени Ленина или знаменитости, прославившейся здесь. Люди одеты по «пролетарской моде», без малейшего понятия о тонком вкусе и современной моде, которая есть в Москве и на Западе. Какие-то полушубки, моряцкие кепочки с маленькими козырьками, зимой черные пальто с красным шарфом, длинные бакенбарды, у молодого моряка – кольцо с печаткой. Газеты простодушно повторяют все, что пишут столичные. Они гораздо правее, чем центральные, и если свежесть есть, то, прежде всего, она исходит из столичных изданий. Люди тут искренно говорят банальности. Любят различные слеты, торжества.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.